

С. Зенкина. Теория литературы: проблемы и результаты. М.: НЛО, 2018. 368 с.

Новая книга С. Зенкина — *учебное пособие* (а не учебник) для магистратуры и аспирантуры, что служит автору надежной «охранной грамотой» от критиков, которым, как следует из «Введения», не нужно искать под обложкой однозначности и нормативности, а также *всего*, чем занимается теория литературы. Ведь кому-то может показаться странным отсутствие, например, специальной главы о понятии «ценность» применительно к художественному творчеству. Хотя у того же А. Компаньона, подход которого Зенкин (переводчик «Демона теории») называет для себя образцовым (с. 8), подобный раздел представлен. Но поскольку *сам* автор только что вышедшей книги уверенно объявляет, что его труд по своей цели и структуре «не имеет прецедентов в мировой литературно-теоретической науке» (с. 8), остается проверить данную самооценку на прочность.

Следуя за подзаголовком пособия («проблемы и результаты»), начнем со структуры. Уже из «Оглавления» видно, что выстроенная вертикаль проблемных полей содержит типичные для книг по теории литературы понятия. Среди них встречаются как наиболее традиционные — «автор», «читатель», «текст», «жанр», «стиль», — так и претендующие на оригинальность в русском научном контексте: «критика», «литература» (не в ожидаемом значении «литература как вид искусства»), «референция» и др. Но если вчитаться, то и в них обнаруживаются содержательные переклички с известной учебной литературой. Так, глава «Критика» посвящена вопросу о составе литературоведения, однако с опорой на модную терминологию Ж. Старобинского.

В главе «Литература» ощутима связь с классической проблемой соотношения «эстетического и художественного». В своих рассуждениях Зенкин опирается на работу Ц. Тодорова «Понятие литературы» (1975), в которой литературность определяется по двум критериям: структурному и функциональному (с. 46), но никак не соотносит ее с написанной двумя годами ранее статьей Ю. Лотмана «О содержании и структуре понятия “художественная литература”» (1973), где тоже говорится о разграничении произведений художественной литературы и всей массы остальных текстов с двух точек зрения: функционально и с позиции внутренней организации. Да, эта работа Лотмана прекрасно известна автору, но цитируется им по другому поводу в § 9 «Открытый и закрытый текст; “не-литература” в литературе», который отсылает нас к ставшему привычным в аналогичных учебниках разделу «Литературные иерархии и репутации». Наконец, в центре внимания § 18 «Синтагматические пределы текста» оказывается более чем традиционное понятие «рамочный

текст». Причем ни слова не говорится о стоявшем у истоков его изучения С. Кржижановском. Все лавры достаются Ж. Женетту, разработавшему более широкое понятие «паратекст». Как видно, *история становления научной мысли* оказывается на периферии интересов Зенкина, который уже в конце своего труда поясняет, что его книга и «не является историческим повествованием» (с. 337). Вместе с тем здесь же он парадоксальным для себя образом утверждает, что сегодня одной из стратегий сохранения теории литературы «становится критическое и историческое самоосмысление» (с. 337).

Большее удивление в книге, адресованной аспирантам, обучающимся по специальности «Теория литературы. Текстология», вызывает то, что автор нашел место, скажем, для стиховедческой проблематики (гл. 7 «Стих»), в то время как «текстология», сводимая им к «эдиционному искусству» (с. 141) — тому узкому толкованию, с которым боролись Д. Лихачев и А. Гришунин, говоря о фундаментальном значении текстологии и ее исследовательских возможностях, — уступает место французской «генетической критике».

Итак, в отношении состава проблем заявленная автором новизна более чем относительна. Наиболее свежей из всех выглядит глава «Референция». Впрочем, речь в ней тоже заходит о понятиях, обсуждаемых обычно в связи с «миром произведения» и такими его свойствами, как дискретность и условность. Между тем в книге Зенкина довольно продуктивно герой (миметический элемент) отделяется от персонажа (структурно-семиотического элемента). В этой же главе особый параграф посвящен «мимесису слова и тела» — «многообещающей проблеме, к которой еще только подступает наука о литературе» (с. 295). Специального внимания могла заслужить проблема «художественного образа» (тем более Зенкин признает, что это понятие «от широкого и безответственного употребления в критике утратило всякую определенность» (с. 272), а значит, есть что прояснять), но она, судя по всему, не вписывается в «новейшие теоретические течения, особенно связанные с “поворотом к читателю”» (с. 272). Тем временем скрепляющий книгу тезис гласит: «...современный литературный мимесис — читательский, а не авторский» (с. 307). В этом смысле последняя глава — «История» (с параграфами «Эволюция», «История чтения», «Интертекстуальность», «От истории к географии») — самое логичное завершение.

Разговор о «результатах» предполагает обращение к методологии, что признает сам Зенкин (с. 6). И в этой части его «Теория литературы» выходит за рамки отечественной учебной традиции. Методологическое ядро издания — только те интеллектуальные течения, которые предпочитает автор: русский формализм, американская «новая критика», немецкая рецептивная эстетика, Тартуская школа, французский структурализм и все, что с ними связано. На первый взгляд, демонстрируются различные подходы, не

ограниченные одной национальной традицией. Более того, Зенкин далек от безудержной апологии тех, на кого ориентируется, и позволяет себе критику предшественников. Тем не менее стремление показать «методологическую разнородность» (с. 7) теоретических идей не выдерживается должным образом.

На это указывает нескрываемое противопоставление русской теории литературы (воспринимаемой как инертной, за вычетом формалистских и структуралистских штудий) — другим научным традициям. Утверждая, что «теория литературы в современном понимании термина развивается уже около ста лет» (с. 335), нас подводят к тому, что теоретическая мысль до 1910-х годов якобы отсутствовала, а «проблема определения границ литературы не составляла трудности в XIX веке» (с. 44). Но разве *историческая поэтика*, которая почему-то игнорируется Зенкиным, не заложила фундамент для будущих исследователей художественных форм?! Разве не академик А. Веселовский, о котором автор книги говорит только как об «основателе реалистической нарратологии в России» (с. 250), задолго до формалистов не предпринимал попытки определить границы понятия «литература», касаясь вопроса о *специфическом* предмете ее истории?!

К сожалению, многое из того, что составило позитивные *результаты* отечественной теоретико-литературной рефлексии уже в XX веке, тоже не вошло в «учебное пособие *высшего уровня*» (с. 5). Назову некоторые из тех, которые не утратили актуальности: телеологический метод А. Скафтымова, разработавшего еще в 1920-е годы принципы анализа художественного текста, преодолевающего крайности формализма; философские основания литературоведения, сформулированные в трудах теоретиков ГАХН; локально-исторический метод Н. Анциферова, который впервые поставил проблему литературно-художественного урбанизма; системно-субъектный метод Б. Кормана, внесшего вклад в развитие теории автора, — вот далеко не все достижения отечественной научной мысли, незнание которых для будущего теоретика литературы сродни профессиональной дисквалификации. Правомерно ли преуменьшать их значение по той лишь причине, что они не оказали (часто — по экстраординарным причинам) «наибольшее влияние» (с. 8) на зарубежную теорию литературы?! Может, и они заслужили своего «праздника возрождения» (М. Бахтин)?! Наконец, не одними школами и направлениями измеряется методологическое развитие. Порой в конкретных историко-литературных трудах «внеаправленцев» заложен огромный теоретический заряд. И Зенкин сам демонстрирует это на примере работы Л. Пинского (в сноске на с. 249 второй инициал «М.» — явная опечатка) «Сюжет “Дон Кихота” и конец реализма Возрождения». Среди фактических неточностей отметим и фразу из главы «Рассказ»: «Фронтвики Первой мировой войны были неспособны поведать

о своем военном опыте» (с. 230). В 1917 году газета «Речь» не единожды публиковала выдержки из писем с фронта, в которых говорилось о военном опыте русских офицеров от первого лица. Встречаются в тексте и стилистические шероховатости (с. 261), а также дословные повторы фрагментов (с. 55 и 164; 51 и 177).

Но если отвлечься от частностей, то нерешенным у Зенкина остался вопрос о том, каким должен быть *объем университетского курса теории литературы*, в котором не оказалось места для исторической поэтики и текстологии (в ее отечественном понимании), в отличие от неориторики и нарратологии. Стремление объединить разговор о теоретических проблемах с методологией также реализовано в редуцированном по отношению к русскому литературоведению виде. Причина — не только в методологических вкусах автора, но в невозможности полноценно говорить о методологии в отрыве от истории самой науки (а не только литературы!) и мировоззрения отдельно взятых исследователей (а не только идеологии!).

В завершение Зенкин шутит, говоря, «что книгой, лишенной указателя (индекса), невозможно пользоваться — ее приходится читать» (с. 332). В его пособии предметный указатель отсутствует, что усложняет освоение модного терминологического аппарата (несогласованность национальных литературоведческих тезаурусов — еще один нерешенный вопрос). Зато в издании есть указатель имен, где (как и в списке литературы) ни разу не упомянуты создатели концептуально различных, но в равной мере актуальных (свидетельство чему — регулярные переиздания) учебников по теории литературы: В. Хализев (с одной стороны) и Н. Тамарченко, В. Тюпа и С. Бройтман (с другой). Не будем усматривать в этом научный эгоцентризм и неуважение к коллегам, а увидим имплицитное признание Зенкиным того факта, что подготовленное им издание — всего лишь необходимое приложение к проверенным трудам его предшественников, и пожелаем «новатору» не отстать от «архаистов» в количестве благодарных читателей и качестве возвращенных учеников.

Алексей ХОЛИКОВ

Московский государственный университет